Ольга Игоревна Северская

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН

«Мифология неприкаянного чувства»

(об интерференции стиха и прозы в новелле «Блики» Евгения Поспелова)

Если поэт становится прозаиком, это – симптом. Возможно, он просто взрослеет, и его – вспомним А.С.Пушкина – «лета к суровой прозе клонят». Или, наконец, решается рассказать историю, для чего и заимствует у прозы повествовательность. Либо экспериментирует, особенно, если сочетает стих и прозу в одном произведении, на разные лады перекладывая один и тот же рассказ. Евгений Поспелов в новелле «Блики», по всей вероятности, обращается к прозе по всем трем причинам сразу. Но ни на секунду не забывает, что он поэт. И потому, что стихи ему до сих пор удавались больше, о чем в новелле говорится с документальной точностью: «Накануне поездки в Москву у меня *вышла книга поэтических миниатюр*, полная шумных мыслей и недосказанного восхищения сущим. Я ободрился и решил взяться за *«толстую» прозу*. Но к вечеру следующего дня забросил под шкаф *тонкий запнувшийся черновик*: на первых страницах стало ясно, что в моих суставах не хватает нужного количества «песка», и в голове горят факелы чужих Великих книг». Но, прежде всего, из-за того, что именно чередование стиха и прозы заставляет его текст «бликовать» - отсвечивать, стих и становится «бликом» – световым пятном, отблеском света на темном прозаическом фоне, или, по определению В.И.Даля, «ярким светом, наносимым на те точки картины, которые так освещены, что блестят». Поспелов заимствует технику у импрессионистов, чьи имена включает в повествование: его «учителями» становятся Моне, Сезанн, Дега, Синьяк, Марке. Упоминаются также и «мастера магических теней», Дали и немецкие художники-концептуалисты. Сам автор охотно делится замыслом: проза мазками создает образ события, блик стиха нужен как лирический камертон, эталон эмоциональности, придающий глубину нарочито легкому повествованию; кроме того, чередование стиха и прозы рождает определенный ритм, соответствующий пульсации мысли и чувства. Но, как представляется, такая сложная организация текста позволяет Поспелову решить еще одну художественную задачу: найти инструмент, который бы «ярче слов воплощал мифологию неприкаянного чувства, блуждающего в ночи», материализуя не оформленные в слова формо-образы подсознания.

Мифологизм в новелле «Блики» проявляется по-разному, но все его манифестации подчиняются закономерностям, свойственным литературе XX века. М.Н.Эпштейн замечает, что в этот период она «вновь обращается к слиянию фантазии и реальности в цельности мифа, где субъективное и объективное рационально не разграничены» [Эпштейн 1987, 224], демонстрируя при этом ряд особенностей: в неодолимую судьбу перерастает повседневность с ее рутинным социальным и житейским опытом, поэтому мифологизм сочетается с протокольной манерой письма; новый миф творится в «самоуглубленном одиночестве» героя – «природно-оргиастического» или «экзистенциально-абсурдного», проявляясь в его внутренних монологах, отражающих «поток сознания», а также в лирико-философских медитациях по поводу древних мифологических сюжетов, введении в ткань повествования отдельных мифологических мотивов или персонажей, воссоздании

глубинных мифо-синкретических структур мышления, обнаруживающих «сверхлогическую» основу бытия [Там же].

Евгений Поспелов вводит в свою новеллу образ Гильгамеша, одного из главных героев шумеро-аккадских мифов, явно ощущая с ним внутреннее родство (кстати, и имя этого персонажа означает «*предок-герой*»). Мы сталкиваемся с весьма субъективным прочтением мифа: изо всех его «подвигов» если и отмечается, то только один – поход за «славным именем» во главе войска из молодых неженатых воинов (автору-повествователю тоже хотелось бы снискать славу, написав свою Великую Книгу), из всех его черт для поэтического «мифа» отбираются любвеобильность и тоска по настоящей любви и вечной жизни. О нем автор-повествователь упоминает дважды, и оба раза – в контексте «автоцитаты», оформленной как прямая речь (в скобках заметим, что это – единственные два случая, когда указанием на прямую речь становится двоеточие, вводящее «закавыченный» фрагмент, о роли кавычек, отделяющих поэзию от прозы, ниже будет сказано особо). Первый раз о Гильгамеше он вспоминает, когда речь заходит о попытке перехода от поэзии к прозе: «Я еще не дошел до того поворота, когда натыкаешься в себе на собственный светильник для сжигания тьмы вокруг себя: “*Гильгамеш, оплакивающий дружбу, ищущий бессмертья, увидевший человеческую жизнь как чудный блик от небесного света во тьме, во вселенской ночи…*”». Поспелов, имитируя прямую речь, как бы говорит: «*Я – Гильгамеш*» (имя мифологического героя оказывается в позиции предиката по отношению к субъекту вводного высказывания), но все же слегка дистанцируется от своего героя, оставляя читателю возможность воспринять соответствующий фрагмент как цитату из той самой «толстой прозы», которую он собрался было писать, но оставил «до лучших времен». Во второй раз автор-повествователь прямо сравнивает себя с Гильгамешем, переходя к прямой речи в естественной для себя форме – в стихах: «*Мне хотелось, как Гильгамешу, задержаться на необозримый срок в этом прекрасном мире*: “… облюбовать молчаливое утро / с птенцами и яблоками / и остаться смотреть на воду, / пронзенную рыбами…”», к прямой речи своей «книги миниатюр о свежести утра», высеченной «из базальта ночи в дыму сигарет» (ср.: «И пока я крепко спал лицом в ворохе страниц, мои сотоварищи читали их, вытаскивая из-под моей головы»). Поскольку второе высказывание относится к моменту, в реальности предшествовавшему времени первого упоминания о шумерском герое, можно понять, что он так и остался для автора-повествователя «бликом мечты» и «бликом времени». «След» Гильгамеша можно увидеть и в концовке новеллы: «*Я встал с песка*, поймав на нем у самой кромки воды несколько солнечных бликов, *разбежался и нырнул с берега в зеркало речного залива, оно раскололось и брызнуло искрами* на солнце у золотых песков Оболони, *смыкаясь над исчезающим в его глубине Бликом Времени…*» - как известно из мифа, этот герой пытался пройти через воды смерти к бессмертию.

Встречаются в тексте новеллы и другие имена-мифологемы, относящиеся к общему культурному фонду: *Гварнери*, *Шопенгауэр*, *театр на Таганке, «Мастер и Маргарита» Булгакова*, имена мифологизируемых реалий: *горбачевская Перестройка*, *Метромосква*. Именуя своих героинь, Поспелов для одной из них заимствует имя богини Исиды (египетской богини воды и ветра, покровительницы мореплавателей), другую нарекает Мариной (и непонятно, то ли это просто популярное женское имя, то ли автор-повествователь называет ее так потому, что она – «океанида, нереида, наяда»), еще одну девушку он зовет Синицей – «за цвет волос, острый носик, острость движений» (намекая этим именем как на «дружбу» героини с небом и ветром, так и на миф о том, что лучше иметь синицу в руке, чем гоняться за мечтой: «Но Синица любила другого, целуясь со мной»), а подруга-наперсница получает у него вполне «мифологическое» загадочное имя Ле. Поспелов создает и собственную, оригинальную систему мифологем, к ним относятся: *Лето, Плато Тепла, Мечта, Поля Грёз, Нескончаемый день, Море Без Берегов, Блик*

Времени… - в отношении этих номинаций соблюдается отмеченный Ю.М.Лотманом и Б.А.Успенским принцип: «знак в мифологическом сознании аналогичен собственному имени» [1992, 60], а имя не обозначает какой-то объект и не указывает на него, а совпадает с этим объектом. Как замечал Э.Кассирер, мифологическому мышлению чуждо «различение между миром непосредственного бытия и миром посредствующего значения», отношение репрезентации в мифе трансформируется в отношение реальной идентичности [Cassirer 1925, 51]. Нечто подобное происходит и в стихотворной речи, где, по словам О.Г.Ревзиной, «совмещены область бытия концептов языковых знаков, - то, что имеет место, мир, как его определяет Л.Витгенштейн, и описание этого мира» [1990, 31]. Это и позволяет стиху отразить структуру мифа. Впрочем, мифологическое отождествление слова и названного им объекта реализуется не только в стихах, но и в «поэтизированной» орнаментальной прозе – как в иконичности повествовательного текста, так и в сюжетном развертывании метафорических образов, точнее, в их реализации и буквализации [Шмид 2003, 264; о реализации метафоры как возврате к мифу см.: Лотман, Успенский 1992, 69]. Евгений Поспелов для воссоздания «мифологии чувства» украшает свою прозу двойным орнаментом: использует и конструктивный принцип стихотворной речи – «проекцию принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации», в формулировке Р.Якобсона, и вкрапления стиха в прозаическое повествование.

Интересно, что в сборник, носящий то же название – «Блики», включено и совпадающее по сюжету с новеллой стихотворение:

На венценосных травах
среди куфической растущей повилики,
среди деревьев,
впадающих ручьями веток в небо –
мечтаю о тебе –

целую ли другую, откладывая книгу в ночь,
или иду в волне по пояс к лодке
туда, где о твоей улыбке
не счесть моих легенд…
Но ты бесследна
        на ладонях лета.

Мне остается с трепетом смотреть
        на поступь молодой аборигенки,
как будто чаша терпкого напитка в ней до краев…

Но, чай заваривая в азиатском зное,
        в слепящих бликах этой *пустоты,*
стремлюсь туда, где затаилась робко
за горизонтом губ твоих улыбка

как *блик мечты…*

Упоминание *куфической повилики* (символа куфических *письмен* и *орнамента*) можно считать косвенным признанием автора в тяге к орнаментализму, подтверждение этому можно найти и в самом тексте новеллы, в описании инсталляции Гюнтера Юккера: «*Гвозди вбивались так, что образовывался ритмичный рисунок спиралей или орнаментов.* Варьировались не только длины вбитых гвоздей, создавая над холстом объемные изогнутые поверхности, но и углы наклона, от чего рисунок растягивался. Плавные переходы длин и наклонов создавали чудесные эффекты, которые усиливались игрой теней на холстах: подсветка динамично менялась, тени вращались, росли и убывали, образуя еще один оживший рисунок. *Мне виделись толпы людей, извивающихся в ритуальном танце времени*». Этот фрагмент имеет продолжение: «*На улице я невольно продолжал подмечать аналогии*: в сверкающей тьме февральской стужи *люди спешно проходили под фонарями*; *здесь неподвижным был свет, гвозди пешеходов сами перебегали через световые коконы, их тени жили по тем же правилам, что и на холстах*. Моя тень так же крутилась и танцевала вокруг меня. Может быть, *я* сам был тенью себя, и куда бы ни бросался, куда бы ни уезжал, *всегда оставался внутри себя на том же одном месте, как будто был вбит по пояс*…» - лексический повтор создает эффект реализации метафоры и сравнения, а значит, переводит людской «гвоздевой орнамент» в план мифа.

Повторяемости мифического мира соответствует повтор формальных и тематических признаков: «Лейтмотивность и эквивалентность подчиняют себе как языковую синтагму нарративного текста, так и тематическую синтагму повествуемой истории» [Шмид 2003, 264]. История Евгения Поспелова рождается в череде повторяющихся событий и действий, напоминающих ритуалы – еще одну форму проявления мифологического сознания. В новелле «Блики» упоминаний о ритуалах множество: это ритуальные посиделки в кофейнях, разговоры о книгах (иногда за чашечкой не кофе, а «искрящегося напитка» или коньяка), походы на выставки и в музеи, в мастерские художников, в театр – на прогон спектакля или просмотр «запрещенного» фильма, проводы друзей… Иногда они совершаются одновременно, что следует из описания того, что *каждый раз* происходило при встречах с художниками, обосновавшимися в кофейне под антресолями ЦДХ: «Мне было скучновато под коньяк елозить по столу Магритта или Поллока, после чашки кофе я оставлял Ле в кругу поклонников и уходил блуждать по выставкам…». Некоторые ритуалы весьма романтичны: «Может быть тогда *каждое утро*, выходя к заливу, я пересекал раскаленное, полное миражей, небесное Плато, которое видел гаснущим у горизонта в протяжных летних закатах…». Есть и повторяющиеся мотивы, как правило, соотносящиеся с этими «ритуальными» повторами. Например, с посиделками в кофейнях связан мотив виртуального мира: «*Кофейни выполняли для нас миссию нынешних интернет-форумов и порталов*, где можно было найти нужную литературу, музыку, живопись, познакомиться или влюбиться по переписке взглядов. *У каждого имелось «свое» условное место как свой e-mail. Это был по-настоящему виртуальный мир*, сверкающий открытиями и улыбками, или зябко смотрящий в тебя»; «*Метро-провайдер* вывозило меня с дюн в самый центр города, на Площадь Революции, откуда оставалось подняться *мимо порталов кофеен* вверх, к Владимирской горке, *к вычислительным машинам отцифровывать еще один пустеющий вечер*»; «*Я снова стал одним из сайтов кофейного портала*» - эти фрагменты создают «рамку» для фабулы, отмечая разные стадии душевных исканий героя. На выставках и в театре герой встречается с разными девушками, а вот тема книг связана только с одной – Ле, «*любившей собирать редкие книги, как пчела мед с цветущего каштана*»: мы видим ее «под желтой лампой *среди вороха новых книг*» и с другом героя, «полиглотом-поэтом, который перебрался к ней со всем своим имуществом: *с ящиками книг*, с офицерской шинелью, приспособленной под зимнее пальто, с печатной машинкой и свирелью». Если

друг-поэт сочиняет, главным образом, доносы на героя (с этим поворотом сюжета связаны повторяющиеся мотивы *непростого пути испытания дружбой* и *невинных «предательств» друзей*), то сам лирический двойник автора-повествователя пишет под *стаккато печатного рояля,* порывает с *консерваторской скрипачкой* и влюбляется в *маленькую девочку в валенках, бегущую отогревать пальчики перед уроком фортепиано*, прислушивается к *чудесным мелодиям трав и волн* и к *тростнику, поющему голосом Сиринги* – мотив «музыки сфер» имеет не только эти языковые воплощения. Одним из самых существенных становится мотив мечты о любви: «Иногда я думаю о своей женщине, еще не известной мне. Она мерещится… *я поднимаю руки к ее волосам, чтобы нежно пропускать их между своих пальцев и улыбаться ее дыханию в ночи*», он повторяется, когда герой *лицом к лицу с любимым человеком* – Мариной - *входит в ночь, не успевая рассмотреть свое чувство*: «*В ту ночь я пил аромат ее дыханья*. Прекрасный лик любви, который никто не в силах изобразить по прихоти, открылся в ее лице, склоненном надо мной. *Между моих пальцев струились пряди ее волос* и опускались мне на лицо», и в финале, когда он оплакивает свою *влюбленность, не поднявшуюся до любви*: «Мне было больно, потому что мечта осуществлялась в моих объятьях, она принадлежала мне, и *сквозь мои пальцы струились, ускользая навсегда, ее густые, как родниковая вода, волосы…*».

Лейтмотивом, безусловно, оказывается игра света, воплощенная в «бликующих» лексемах, которыми текст новеллы буквально усыпан. Само слово «блики» повторяется несколько раз: *рассветные блики; обжигающие, солнечные блики на песке; слепящие, золотистые блики волн; блики листвы и воздуха; блики от фонарей, неоновых вывесок, автомобильных фар; блики космической страсти и одиночества; сохранившийся в сердце образ, размытый солнечными бликами; Блик Времени …*- все они плоть от плоти того *чудного блика от небесного света во тьме*, что открывается в самом начале Гильгамешу. «Блики» множатся в образах яркого и переменчивого света, создающих множество световых пятен в словесной ткани новеллы. Действие начинается в *городе мерцающей красоты*, далее мы перемещаемся в *искристый мир* кухни в Коньково, в голове героя горят *факелы чужих книг, собственный светильник для сжигания тьмы* ему пока заменяют *пузырьки, искрящиеся пьянящей свободой, искристая бражка* и *желтая лампа…* Затем возникает *ночной сверкающий мираж*: *мимо летели гирлянды огней, снег вспыхивал перед фарами, как магний*; на смену ему приходит *день, залитый слепящим солнцем, свет июльского утра, бесконечное сияющее лето, сверкающая тьма февральской стужи, солнечный морозный четверг*, а в нем - *солнце, зной, призрак лета,* загораются *золотисто-желтый закат, солнце, палящее в сердце...* Светом озарен и внутренний мир: в тексте можно найти *союз светлых умов, свет дружбы*; девушки предстают перед томящимся по своей любви герою как *слепящие солнечные зайчики*, на улицах ему встречаются *мерцающие лампочки – силуэты незнакомок* ... В орнаментальной прозе лейтмотивы порой заменяют сюжет: «приемы повтора… существуют не просто «параллельно» истории, но и подчеркивают, выявляют или модулируют конститутивные для истории временные связи» [Шмид 2003, 265]. В новелле Поспелова повтор слов с семой «свет» позволяет преодолеть нарушение причинно-следственных связей за счет причудливого совмещения пространственных и временных планов, как это происходит, например, в следующем отрывке: «*Это было ритмичное дыхание распахнутого, летящего в лучах без преград пространства*… Я шел в нем. Каждый шаг глубоко тонул в горячем мягком песке, сверкающем невидимыми гранями. Здесь Поль Синьяк мог бы днями писать под соломенной шляпой свой опус «Песчаный берег моря», и его холст был бы таким же ярким от этого мелкого песка и обжигающих бликов. Казалось, поверни за дюны и откроется залив Сен-Бриак с ветхим рыбацким поселком Иль-Вилен, над которым выгорает еще один золотой день вместе с французским флагом». Тем самым с помощью повторов воссоздается мифологическая пространственно-временная структура и выстраивается, вне реальной

хронологии, «череда событий, которые были удивительны уже одной только возможностью оказаться погруженными в них здесь и сейчас».

Важно заметить, что лейтмотив игры света проявляется в новелле Евгения Поспелова не только на лексико-семантическом уровне языкового воплощения повествования, но и в самом чередовании фрагментов стиха и прозы.

В некоторых случаях на определенном отрезке текста возникает динамическое напряжение, позволяющее – в зависимости от выбранной точки зрения – определить его форму и как прозаическую, и как стихотворную. Сам автор указывает на следующий отрывок: «*Мне вспомнилось, что в августе над Европой ожидается звездный дождь: юная комета приближается к Солнцу, на пути сбрасывая с себя одежды… Одежды, сотканные из бисера космической пыли, распадаются и летят к нам на землю. Они вспыхивают, проваливаясь в атмосферу серебристыми звездами. Мы смотрим на эти серебристые блики космической страсти и одиночества, тающие в небе, как в мокром песке. Нам не видно, как обнаженная прекрасная дева, мелькнув перед ликом Солнца, вновь ускользает от его обжигающего дыхания – мы загадываем желанья о любви на этих сгорающих пылинках Вселенной*». Рискнем предложить свое деление фрагмента на строки и строфы:

Мне вспомнилось,
что в августе над Европой
        ожидается звездный дождь:
юная комета приближается к Солнцу,
на пути сбрасывая с себя одежды…

Одежды, сотканные из бисера космической пыли,
распадаются
        и летят к нам на землю.
Они вспыхивают,
        проваливаясь в атмосферу
        серебристыми звездами.

Мы смотрим
на эти серебристые блики космической страсти
        и одиночества,
тающие в небе, как в мокром песке.
Нам не видно,
как обнаженная прекрасная дева,
мелькнув перед ликом Солнца,
вновь ускользает
        от его обжигающего дыхания –

мы загадываем желанья
        о любви

на этих сгорающих пылинках

Вселенной

Но обычно стихи возникают по ходу повествования – как цитаты к месту, своего рода лирические отступления, приближающие к сути. Все это – фрагменты из более ранних книг Поспелова («Поющие на плотах» и «Время кофе»), и в самом первом из них мы обнаруживаем авторский комментарий к тому, как надо относиться к таким «автоцитатам»: «*… где-то тут заветные гнезда! / звенят и растут в их лакунах крылья для света…*» - стихи, по признанию автора, переводят горизонталь повествования в вертикаль, ведущую в глубину текста, образуя своего рода «колодцы смысла», на дне которого и происходит вспышка-озарение. Все стихотворные фрагменты даны в кавычках, играющих роль «рамки». Говоря о «рамках» в художественном тексте, Б.А.Успенский отмечает, что функционально они связаны «с определенным чередованием описания «извне» и описания «изнутри», - иначе говоря, с переходом от «внешней» к «внутренней» точке зрения, и наоборот» [Успенский 1995, 174], при этом выделение автором какого-то фрагмента повествования в качестве относительно самостоятельного текста приводит к тому, что «общий текст всего повествования может последовательно распадаться на совокупность все более и более мелких микроописаний, каждое из которых организовано по одному и тому же принципу» [Там же, 191]. Восприятию выделенных кавычками микротекстов как самостоятельных способствует и то, что в кавычки предполагают возможность отсутствия связи между контекстом и заключенным в них фрагментом [Шварцкопф 1988, 51]. Благодаря этому стихотворные фрагменты в новелле Поспелова кажутся самостоятельной «книгой в книге», той самой дважды упомянутой в новелле нашумевшей книгой миниатюр «о свежести утра, о *пчелах ударов сердца*», а проза напоминает «тонкий» черновик запнувшегося «толстого» романа. Автор в одном из стихотворений, образующих контекст новеллы, прямо признается: «*Иногда хочется встретить / утерянную когда-то книгу…*», чем и оправдывает этот прием. Он позволяет Поспелову моделировать «лоскутный» характер мифологического пространства: оно представляет собой не «признаковый континуум», а совокупность объектов, носящих «собственные имена», «попадая на новое место, объект может утрачивать связь со своим предшествующим состоянием и становиться другим объектом»; при этом «мифологическое пространство всегда невелико и замкнуто, хотя в самом мифе речь может идти при этом о масштабах космических» [Лотман, Успенский 1992, 63]. Быть «именем собственным» объекту художественного пространства и помогают кавычки, указывающие на символизм «условного наименования». Кавычки могут быть также либо знаком «чужого слова» (благодаря этому лирический герой отделяется от автора-повествователя, звучит не внешняя, а внутренняя речь), либо, напротив, выделять прямую речь [Шварцкопф 1988, 51]. Поспелов иногда использует обе эти функции одновременно. Например, во фрагменте, в котором идет речь об отъезде за границу сестры подруги-наперсницы его героя: «Нельзя отговаривать мореходов, сносящих припасы в трюмы, ведь они всегда уходят в неизвестность, в Море Без Берегов, зачем же дергать их за сердца напоминанием о своей любви к ним, о тяжести разлуки и своей покинутости, брошенности на этом побережье… «*… люби сиротство и дар друзей - / их одночества верность, / и не страшись когда холодной кистью / коснутся наших окон – / коснутся губ - / задумчивые ветры / нас уносящие…*» - Меня прервали, отобрали бокал и повели среди разбросанных вещей и коробок в спальню». Заключенный в кавычки фрагмент может расцениваться и как «чужие слова» (тогда прервано будет прозаическое, но поэтичное рассуждение героя о решившихся плыть за океан), и как «свои», либо звучащие внутри, своего рода «голос сердца», вступающий в диалог с «голосом разума» (в этом случае прерывается лирико-философская медитация), либо прямо высказанные (прерванным оказывается монолог автора-повествователя, в котором он использует

собственные стихи как иллюстрацию своей мысли или еще один довод). Другой такой «двусмысленный» фрагмент – описание посиделок на приютившей героя и его подругу московской кухне: «Искристая бражка в Коньково разбавляла терпкие мысли до легкой облачной грусти, я пожимал пухлую приветливую перчатку, снимал ее с баллона и наполнял чашку снова и снова под монологи Ле, сидящей напротив под желтой лампой среди вороха новых книг. *"… жду тебя – сердцем мощу ступени / к тихой вершине дня - / к стеклянной кофейне, где ты найдешь меня / будто забыла вчера ожерелье - / нежность моих рук-вечеров…"*». Заключенный в кавычки стихотворный фрагмент может быть как «чужим словом» - например, цитатой из одной из упомянутых «новых книг» или частью монолога Ле, спешащей поделиться «открытием», так и «своим» - речью, обращенной либо к самой Ле (дальше в тексте новеллы мы найдем указание на это: «Кофе был выпит, но я не уходил, поджидая Ле. <…> Ле не пришла»), либо к предмету грез. Этому микротексту соответствует другой, тоже «закавыченный», но уже прозаический отрывок: «*Сестра Ле, думаю, что ты разумно предпочла веселые шептания своих чувств моему дешевому кофе, мы еще успеем наговориться*. Я, как всегда, в этом углу «Стекляшки» у прозрачной стены, за которой идет чудесный фильм, в нем падают на мокрый асфальт глянцевые блики от фонарей, неоновых вывесок, автомобильных фар, и *сквозь* эти *блики идут из ниоткуда в никуда чуть подмокшие силуэты, несущие в себе теплое дыханье грез и желаний*». Опять же он может расцениваться и как набросок прозы, и как внутренняя речь, и как «мысли вслух» (глагол *думаю* одновременно и указывает на реальный мыслительный процесс, и является простым вводным словом). Упоминание в одном контексте и реальной героини, и воображаемого силуэта мечты лишний раз подчеркивает, что ранее в стихах была представлена модель некой референтной ситуации, применимая к разным случаям. Это согласуется с самой природой стихотворной речи: «не будучи исходно связанной ни с одним фрагментом неязыковой действительности, стихотворное высказывание приобретает способность соединяться с множеством таких фрагментов, если в них представлено то же "положение дел"» [Ревзина 1990, 32]. В принципе, автор-повествователь мог адресовать свои слова любой из встреченных или пригрезившихся в кофейне девушек, которых в новелле – великое множество: *Ле, Синица, Марина, тихая рыжеволосая девушка – огненноволосая юная Исида, приветливая молодая актриса, девушка с красивой спиной или улыбкой* (*или*, сомневается автор, *это были две разные девушки*), *девушки, прекрасные и улыбчивые,* ложившиеся в руки героя *как слепящие солнечные зайчики* и таявшие у его губ, *школьная влюбленность*… Девушек много, но с точки зрения мифа, структуру которого воспроизводит Поспелов, это – одна девушка, «*девушка-из-кофейни*»: мифологическое отождествление предполагает трансформацию объекта, которая происходит в конкретном пространстве и времени [Лотман, Успенский 1992, 75], но при этом однократность объектов не мешает мифологическому сознанию рассматривать совершенно различные, с точки зрения немифологического мышления, предметы как один [Там же, 59].

Все эти особенности, обусловленные интерференцией стиха и прозы в тексте одной новеллы, свидетельствуют об одном: Евгений Поспелов использует ее как механизм переключения с нарративного регистра (предполагающего концентрацию не на образности, а на организации пространственных и временных отношений описываемых ситуаций и событий) на лирический (соответствующий логике развертывания образов и порожденной ею особой, семантически обусловленной, «сюжетности»), что позволяет ему в повествовательной конкретности с массой бытовых деталей подняться до уровня обобщения. Как справедливо замечает В.Шмид, благодаря своей поэтичности проза не только предстает как структурный образ мифа: не репрезентирует, а материализует события «возможного мира», но и открывает дополнительные возможности для изображения человека и его внутреннего мира: «Если сеть поэтических приемов налагается на нарративный субстрат, смысловые возможности значительно увеличиваются за счет

взаимоотношений полушарий поэзии и прозы. С одной стороны, поэтические сцепления выявляют в ситуациях, персонажах и действиях новые аспекты, с другой, архаическое языковое мышление, входящее в нарративную структуру, подвергается перспективизации и психологизации» [Шмид 2003, 266; см. также о взаимодействии нарративного и лирического текстов: Фатеева 1996, 34-35]. Прямое включение стиха в прозу эти возможности удваивает. Евгений Поспелов в своей новелле «Блики» не только творит авторский миф о смятении чувств, но и создает живописное светящееся полотно, написанное на волновавший многих его духовных наставников сюжет: «*Как прекрасно и как радостно-грустно мелькнуть одним из бесконечных бликов, падающих на эту землю*».

Литература

Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф – имя – культура. // Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Т.I. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992.

Ревзина О.Г. От стихотворной речи к поэтическому идиолекту. // Очерки истории языка русской поэзии XX в. Поэтический язык и идиостиль. М.: Наука, 1990.

Успенский Б.А. Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры, 1995.

Фатеева Н.А. Стих и проза как две формы существования поэтического идиостиля. АДД. М., 1996.

Шварцкопф Б.С. Современная русская пунктуация. М.: Наука, 1988.

Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003.

Эпштейн М.Н. Мифы: Мифологизм в литературе XX в. // Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987.

Cassirer E. Philosophie der symbolischen Formen. T.2: Das mythische Denken. Berlin, 1925.

Объект статьи:

«Блики» (Новелла)
Евгений Поспелов

Когда-то я жил в просторном древнем городе, где прохожий легко теряется в обманчивых отраженьях витрин и глаз. Его реки и холмы были прекрасны и величественны, подобно небу, текущему между белокаменных облаков. Город мерцающей красоты, неизбежно и неподвижно тонущий под наслоеньями новых эпох и культур. Там я познакомился с девушкой Ле, любившей собирать редкие книги, как пчела мед с цветущего каштана. Мы подружились, и однажды отправились в Москву навестить ее сестру Лиду, актрису знаменитого тогда театра “На Таганке”.

Мы оказались в многоэтажке на юго-западе столицы, в Коньково. Лида с порога показала где в квартире туалет, холодильник и вскоре ушла:

- Увидимся ночью, в театре…

Предложение о ночном театре было для меня неожиданным, порывистый ветер приятно пробежал по спине и поднялся в голову, я почувствовал властное присутствие стихий. Передо мной уже стояла чашка, наполненная самодельным «шампанским»: до ночи у нас был день, был вечер, был напиток. Ле щедро наливала необычную брагу. Мы пили ее с жаждой добравшихся до источника. Стеклянные трехлитровые банки с "шампанским" стояли в ряд под окном, на их широких горлышках торчали туго натянутые резиновые перчатки «для санитарной обработки». Перчатки были с длинными запястьями и короткими толстыми пальцами, они указывали упруго вверх, надутые газами брожения - это голосование выглядело очень приветливо от их открытых широких ладоней. Холодильник радушно урчал, набитый импортными охотничьими колбасками, они пахли запретным незнакомым благополучием и избытком. Так что, берясь за второй трехлитровый баллон «шампанского», я заметил как мир, наконец-то, стал искристым...

"...где-то тут заветные гнезда!
звенят и растут в их лакунах крылья для света.."

Накануне поездки в Москву, у меня вышла книга поэтических миниатюр, полная шумных мыслей и недосказанного восхищения сущим. Я ободрился и решил взяться за «толстую» прозу. Но к вечеру следующего дня забросил под шкаф тонкий запнувшийся черновик: на первых страницах стало ясно, что в моих суставах не хватает нужного количества «песка», и в голове горят факелы чужих Великих книг. Я еще не дошел до того поворота, когда натыкаешься в себе на собственный светильник для сжигания тьмы вокруг себя:
«Гильгамеш, оплакивающий дружбу, ищущий бессмертья, увидевший человеческую жизнь как чудный блик от небесного света во тьме, во вселенской ночи...»

По ночам, как выяснилось, в драмтеатре показывали «запрещенное» кино, и наша первая московская ночь стала приятным нарушением запретов. Мы сидели в последнем ряду партера, разглядывая посетителей необычного киносеанса. Актеров было немного, больше гостей, неслучайных, все здоровались между собой, обменивались вполголоса репликами, Лида была между ними и лишь однажды подошла к нам с вопросом «ну как вам» и, не дожидаясь ответа, что выглядело вполне демократично, тут же вернулась к своей компании. Свет плавно ушел из зала, заработал кинопроектор. Мы смотрели фильм известного польского режиссера, обличительный и долгий как лекция о вреде алкоголя алкоголикам. После просмотра свет в зрительный зал не подали, а в синеватом сумраке произошла сама собой небольшая беседа, и все тихо разошлись. Шла вторая половина восьмидесятых: горбачевская Перестройка, предчувствие больших каллапсических перемен.

У театра нас уже поджидало московское такси с умершим счетчиком. Мы возвращались возбужденные и молчаливые. Мимо летели гирлянды огней, снег вспыхивал перед фарами как магний, а я уютно прижимался плечом к Ле, вглядываясь в этот ночной сверкающий мираж как в сон, который внутри твоего сна, и тебе снится в нем, что ты проснулся и летишь вникуда.

Я просыпался к полудню. День сиял за окнами приглушенным светом, не столько тусклым, сколько матовым. Иногда прорывалось солнце, немного рассеянное и отвлеченное. Из ванной комнаты я сразу шел на кухню, где Ле уже готовила завтрак, его запахи как раз будили меня, шумные и насыщенные, с дерзкими ароматами шипящего на сковороде мяса в «летней» зелени среди невиданных приправ.

Мы неторопливо ели, бражничали, улыбаясь всему пред собой, и с легкими искристыми пузырьками в голове ехали в ЦДХ. Там выставлялись немецкие художники-концептуалисты, мастера магических теней. От выставочных инсталляций пузырьки в голове множились, они искрились пьянящей свободой. Дышалось просторно. И это было ощущением повсеместного прорыва за старые границы миропорядка.
Выстраивалась череда событий, которые были удивительны уже только одной возможностью оказаться погруженными в них здесь сейчас.

* * *

Моя жизнь в то время была удивительно абстрактна: много кофе, книжные запои, разрыв с консерваторской скрипачкой, стоявшей ежедневно по десять часов с Гварнери под подбородком, набело исписанные вдохновенные черновики, и увлечение девушкой-из-кофейни. У нее были синие глаза, облегающий зеленый комбинезон, пшеничные волосы и книга в руках. Я ее звал Синицей за цвет волос, острый носик, остросить движений и часто поджидал «Стекляшке», прозванной так из-за стеклянных стен, собранных из витринных блоков под огромным старым каштаном на главной улице города.

Кофейни выполняли для нас миссию нынешних интернет-форумов и порталов, где можно было найти нужную литературу, музыку, живопись, познакомиться или влюбиться по переписке взглядов. У каждого имелось «свое» условное место как свой e-mail. Это был по-настоящему виртуальный мир, сверкающий открытиями и улыбками, или зябко смотрящий в тебя.

“Приходит вечер сжигать гравюры города.
Кофейни -
как всполохи сгоревшего дотла проспекта.
Куда спешить стоящим там, за стойками,
когда их дом отстроен не по ним,
и в нем живут незначащие люди,
когда повсюду все горит и тлеет
незримо
  в золу
  в горчащий кофе
  из зерен ночных ветров...”

Влюбленность в Синицу оборачивалась опозданьями на последний троллейбус и одинокими переходами через весь город. Ночи июля: спящий город наполнялся ароматом цветов и трав, остывающих после душного дня, залитого слепящим солнцем; гомон ртов и двигателей уступал тихой музыке бессонных фонтанов и случайному шелесту листвы, на которую натыкался ветерок, слепо идущий без направленья.

Иногда я возвращался не к себе, а добредал до квартиры хорошо или мало знакомых друзей с полной уверенностью, что мое появление будет приятным событием. Странная эпоха, когда тебя с радостью встречали разбуженные люди, ставился чайник на плиту, и все отдавались беседе…

Помню, как в одно из своих ночных скитаний я пришел к жилищу Ле, позвонил в дверь и объявил с порога, что бесполезно влюблен. Полагаю, мой вид ярче слов воплощал мифологию неприкаянного чувства, блуждающего в ночи, наполнял сюжет лирической начинкой и прощал ночное вторжение.

Ле в ту пору жила с моим другом, полиглотом-поэтом, который перебрался к ней со всем своим имуществом: с ящиками книг, с офицерской шинелью, приспособленной под зимнее пальто, с печатной машинкой и свирелью. На захламленной кухне сразу появились персонажи полуподвального и чердачного вида, снобы, выдававшие себя за философов, функционеры с нежной душой, блаженные. Но, время от времени, кухня согревала глинтвейном случайный союз светлых умов, многие из них начинали здесь на расшатанных табуретках непростой путь испытания дружбой.

Приятно было вместе встретить утро за кофе, низложив очередного Шопенгауэра. Утро, бросающее теплые рассветные блики на лица…

В ту теплую ночь меня отвели на упомянутую кухню, принесли печатную машинку и оставили среди нагромождения грязных чашек и банок с окурками… Я не замечал кто мне подкуривал сигарету, подливал вина, а позже варил прогорклый утренний кофе. Не проронив ни слова, они бессонно бродили по квартире под стаккато печатного «рояля».

Из базальта ночи в дыму сигарет мной была высечена книга миниатюр о свежести утра, о «пчелах ударов сердца», доносившихся с юга из мест, где прошло детство, где днями ребенком я бегал за порхающими махаонами, перепачканный вишней и шелковицей, где по вязкому песку побережья преследовал проворную серо-желтую ящерицу, спасающую себя в колючей траве чертополоха. Мне хотелось, как Гельгамешу, задержаться на необозримый срок в этом прекрасном мире:

“... облюбовать молчаливое утро
с птенцами и яблоками
и остаться смотреть на воду,
пронзенную рыбами...”

И пока я крепко спал лицом в ворохе страниц, мои сотоварищи читали их, вытаскивая из под моей головы. Думаю, им казалось странным, что у меня не было ни строчки о любви к девушке…

Но Синица любила другого, целуясь со мной. А я был влюблен в Лето - оно было тогда бесконечное и сияющее. Я переехал на пески Оболони в одном квартале от залива большой реки, отчего ветер приносил неожиданные букеты запахов: то жаркий выдох пустыни, сухой, шершавый, то влажную полуулыбку морского бриза. Иногда мерещился прибой, бьющийся за высотками. Это было ритмичное дыхание распахнутого, летящего в лучах без преград пространства... Я шел в нем между огромных песчаных дюн, палимый солнцем. Каждый шаг глубоко тонул в горячем мягком песке, сверкающем невидимыми гранями. Здесь Поль Синьяк мог бы днями писать под соломенной шляпой свой опус “Песчаный берег моря”, и его холст был бы таким же ярким от этого мелкого песка и обжигающих бликов. Казалось, поверни за дюны и откроется залив Сен-Бриак с ветхим рыбацким поселком Иль-Вилен, над которым выгорает еще один золотой день вместе с французским флагом.

Удивительная складность у французских именований: Иль-Вилен, Сен-Бриак, света-тень, Поль-Синьяк...
И здесь между огромных песчаных дюн Оболони точно такой же, как у него на холсте, прямо перед глазами чертополох с полуденной тенью на песке...

Иногда я думаю о своей женщине, еще не известной мне. Она мерещится… я поднимаю руки к ее волосам, чтобы нежно пропускать их между своих пальцев и улыбаться ее дыханию в ночи. Но это только грезы, чудесные мелодии трав и волн. Синица, или другая девушка, раздернула занавески на моем сердце, и я сощурился от июльского утра, умылся, собрался и двинулся через дюны Оболони к реке.

На берегу я обычно ложился близко у воды и следил, как слепящие блики от мелких речных волн перебегали на мокрый песок. Это был еле заметный краткий миг - золотистые блики выбегали на песок и тут же исчезали в воздухе. Там часто появлялась девушка с красивой спиной или улыбкой, или это были две разные девушки, мне нравилось приветствовать ее или их, мы обменялись телефонами, но я так и не позвонил ей… или им обеим.

Было наслажденьем пробуждаться в этом искрящемся мире, и он таял у моих губ, почти коснувшись их, подобно солнечным бликам на мокром песке...

* * *

Искристая бражка в Коньково разбавляла терпкие мысли до легкой облачной грусти, я пожимал пухлую приветливую перчатку, снимал ее с баллона и наполнял чашку снова и снова под мягкие монологи Ле, сидящей напротив под желтой лампой среди вороха новых книг.

“... жду тебя - сердцем мощу ступени
к тихой вершине дня -
к стеклянной кофейне, где ты найдешь меня
будто забыла вчера ожерелье -
нежность моих рук-вечеров...”

Мы уговорили Лиду взять нас днем в театр на репетицию. Ставился спектакль “Мастер и Маргарита” по М. Булгакову. Полуодетая актриса летала на канате над зрительным залом, ее грудь выплескивалась из туники. Мне почему-то было неловко, хотелось снять ее с веревки, прикрыть и успокоить: сестра, ты устала, как твоя опустевшая грудь.

К середине прогона спектакля я уже ерзал на месте и с трудом удерживал внимание на сценическом действии. Вглядываясь в сумрачный зрительный зал, я заметил приятный профиль девушки, сидевшей в соседнем ряду чуть сзади меня. Мои попытки поймать ее взгляд были тщетны, поэтому пришлось откровенно подсесть к ней и зашептать. Она оказалась приветливой молодой актрисой другого театра, мечтающей перейти в этот. Мы разшептались, окончательно и взаимно утратив интерес к сцене. Она записала свой телефон мягким карандашом для обводки глаз, но уже вечером в кафе я так и не вспомнил куда его сунул, и только улыбнулся привычной потере.

Все как-то легко терялось: зонты и перчатки, порывы души и записки. Девушки, прекрасные и улыбчивые, ложились в мои руки как слепящие солнечные зайчики и таяли у моих губ. Я целовал пустоту, зовя и окликая, но в моих глазах был свет июльского утра, тихий всплеск волн, меня ожидала работа во вторую смену, и на эту смену я записывал себя сам, чтобы дарить себе эти утренние песчаные дюны мимо чертополоха к бликам искрящихся волн.

Метро-провайдер вывозило меня с дюн в самый центр города, на Площадь Революции, откуда оставалось подняться мимо порталов кофеен вверх к Владимирской горке, к вычислительным машинам отцифровывать еще один пустеющий вечер.

И я ощущал, как в моих летних туфлях неслышно пересыпается теплый песок побережья…

Ле познакомилась в ЦДХ с группой «неформальных» художников, обосновавшихся в кофейне под антресолями. Каждый раз мы находили их за оживленными спорами о современных тенденциях в живописи. Обязательно появлялись новые участники, которым наливали под столом в кофейные чашки дешевый болгарский коньяк. Легко и весело мы знакомились со всеми прибывшими на это нонконформистское поприще, исписывали блокноты телефонами и адресами, но через день вряд ли могли припомнить кому они принадлежат.

Мне было скучновато под коньяк елозить по столу Магритта или Поллока, после чашки кофе я оставлял Ле в кругу поклонников и уходил блуждать по выставкам, расплескавшимся на трех этажах стеклобетонного Центра.

«Немцы» размещались на втором этаже, рассеченном перегородками в затейливый лабиринт. На больших однотонных щитах-холстах были вбиты огромные гвозди с красивыми крупными шляпками. Гвозди вбивались так, что образовывался ритмичный рисунок спиралей или орнаментов. Варьировались не только длины вбитых гвоздей, создавая над холстом объемные изогнутые поверхности, но и углы наклона, от чего рисунок растягивался. Плавные переходы длин и наклонов создавали чудесные эффекты, которые усиливались игрой теней на холстах: подсветка динамично менялась, тени вращались, росли и убывали, образуя еще один оживший рисунок. Мне виделись толпы людей, извивающихся в ритуальном танце времени.

На улице я невольно продолжал подмечать аналогии: в сверкающей тьме февральской стужи люди спешно проходили под фонарями; здесь неподвижным был свет, гвозди пешеходов сами перебегали через световые коконы, их тени жили по тем же правилам, что и на холстах. Моя тень так же крутилась и танцевала вокруг меня. Может быть, я сам был тенью себя, и куда бы ни бросался, куда бы ни уезжал, всегда оставался внутри себя на том же одном месте, как будто был вбит по пояс...

Я шел к метро, неприкаянный и тихий, Ле что-то весело рассказывала, а меня пронизывали грусть и морозный воздух, пробравшиеся под куртку. Возникала невидимая холодная стена между мной и реальностью, я чувствовал, что теряюсь, мои чувства обманывают меня, толкая без нужды, по-павловски, к мерцающим лампочкам-силуэтам незнакомок, что разум играет в интеллектуальные головоломки для самоутверждения, потому что эти игры оправдывают отсутствие простых жертвенных поступков. Под вихри леденящего ветра хотелось прекратить свое странствие среди миражей, встретить сердцем простое чувство к единственной… выбросить эгоконструкции вместе с их черновиками, положить голову на её колени и сказать, что Она у меня одна и радость, и свет...

* * *

Ты открываешь глаза от того, что солнечный свет уткнулся в твое лицо - все занавески раздернуты на окнах и на сердце. Свет упруго уткнулся в твою щеку и перебирается на лоб… Еще вчера с 14-го этажа, где находится твоя комната, ты наблюдал закат и думал: откуда у неба столько глубокого светящегося изнутри оранжа, как будто тонет огромное Плато Тепла в фиолетовом приливе ночи, и почему-то щемит в сердце, словно расстаешься навсегда... Но луч упал на лицо, и ты уже радостно улыбнулся пробудившему тебя утру. Улыбка не на лице, она в теле, вдоль позвоночника, слышны птицы и дети за распахнутым окном, и ты уже знаешь о том, как пойдешь через дюны золотого песка мимо высоток к реке, как тебя накроет теплый проливной дождь, и вечером в кофейне ты все еще будешь чувствовать влажный от дождя ворот рубашки.

Может быть тогда каждое утро, выходя к заливу, я пересекал раскаленное, полное миражей, небесное Плато, которое видел гаснущим у горизонта в протяжных летних закатах...

Но как долго сохнет в этом влажном воздухе вечер - чувственный, ищущий Её среди лиц полузнакомых полудрузей - вечер в кофейне у Площади Революции, рядом с Консерваторией и Главпочтамтом, где шепчут и поют фонтаны.

* * *

Был солнечный морозный четверг. Уже к полудню мы с Ле приехали в ЦДХ. Солнце прогревало стеклянные павильоны до зноя, как будто по их оранжереям шествовал призрак лета. Мы не стали заходить в кафе (Ле боялась снова застрять в нем на весь день) и сразу поднялись на выставку, к лабиринтам вбивателя гвоздей Гюнтера Юккера. После очередного поворота я потерял Ле из виду, но у самого края зрения возник вытянутый силуэт, потом донесся его аромат, и от этого силуэт ожил для меня и стал девушкой. Вглядываясь в нее, я почувствовал неодолимое желание непременно соприкоснуться с ней через фразу приветствия или улыбку.

Фраза не придумалась, улыбка, как парашют, не раскрылась до конца, но порыв был все-таки замечен и поддержан ответной полуулыбкой. Девушка оказалась приезжей, на студенческие каникулы. Между нами завязался разговор, и я внутри себя облегченно вздохнул.

Мы вместе бродили по этажам, потом стояли у огромной стеклянной стены и смотрели на закат. Из золотисто-желтого на голубом он плавно перешел в красный на синем, зимние сумерки начали поглощать горизонт, дальние высотки, потом Остоженку, все ближе и ближе подступая к нам.

В ЦДХ объявили о закрытии выставочных залов. Ле так и не появилась. В кафе её не было, и я пошёл провожать свою новую знакомую к метро через железный Крымский мост сквозь тихий вечер, сверкающий снежинками звезд...

Мне долго не удавалось совместить наземную Москву с Метромосквой, я путался в переходах подземных станций и опаздывал. Она ждала меня и встречала с улыбкой, от которой эти подземелья превращались в уютные лабиринты моего искрящегося мира. Мы путешествовали по зимним улицам, отогревались в огромных московских универмагах, где продавали на лотках пончики с повидлом и ватрушки с запахом творога. Ле подбрасывала нам адреса музеев, водила по путанным переулкам в мастерские художников, где неизбежно мирно и не спеша длились споры, перекладывались из рук в руки книги, ронялись картоны, и впитывали едкую краску холсты.

Зима была снежная. Входя в метро с улицы, мы стряхивали с друг друга снег, из ее маленькой вязаной шапочки выплескивались волны каштановых волос, укрывая лицо и плечи. Она с удовлетворением наблюдала за моим взглядом, блуждающим по этим волнам, а я всё серьезней спрашивал себя: неужели, Мечта, возросшая в полях Грёз, обретает живые черты…

Марина.(Океанида, нереида, или наяда родника). Так звали девушку с жемчужной улыбкой-из-снов, с родинкой над губой или где-то в небесах.

Теперь в моей спине, как в песочных часах времени, пересыпаются дюны песков Оболони, на которых построили мою высотку-общежитие. И уже только во мне поднимается над ними солнце, палящее только в моем сердце. Может быть поэтому, если удается зайти в ГМИИ, задерживаюсь у холста “Порт Онфлер” Альбера Марке, и мне каждый раз он видится раскаленным, полуденным. Ветер полощет флаги в густом от лучей и влаги воздухе над желтой водой. Лодка под парусом увязла в теплых волнах. Короткие тени, прижатые плотно к бокам.

Хочется оказаться там - в ветреном изнывающем от солнца Нескончаемом дне.

Вспоминаю морозный февральский день под стенами ГМИИ. Открытие выставки Сальвадора Дали. Уже час как мы мерзнем на улице в очереди на вход, потом долго стоим в духоте узкого гардероба из-за нехватки вешалок. Утомленные морозом и духотой, отправляемся в буфет, а буфет оказывается еще уже гардероба, я невольно постоянно соприкасаюсь с Ней, и мне хочется, чтобы буфет был еще уже и теснее.

На Марине голубые джинсы и бежевый вязаный свитер с тонким травяным запахом. Меня завораживает её мягкий голос, как она держит чашку или отводит волосы от лица. За несколько дней между нами выросла чуткая привязанность, теплое ощущение друг друга. Нам приятно находить схожести, например, из детства - музыкальная школа. Маленькая девочка в валенках, бегущая отогревать пальчики перед уроком фортепиано...

Экспозиция маэстро Дали была продуманной, но что-то неодолимое вытолкнуло нас в залы импрессионистов. И только там мы почувствовали себя легко и естественно, в чистом сияющем воздухе.

Марина, рассматривая картины, любила подмечать и додумывать детали, это была игра, подобная рисованию облаками. Она подвела меня к холсту Дега “Голубые танцовщицы” и попросила внимательнее рассмотреть задний план, добавила несколько слов, и я увидел, что на холсте не только грациозно фосфоресцируют девушки в балетных пачках - за ними вместо декорации живет ландшафт, густой и выпуклый, цветущий летними красками. Они держатся-опираются на него как богини, делающие привычную легкую разминку перед веселым полетом...

Думал ли об этом Дега, поливая кипятком эту картину для создания эффекта мягкой размытости цвета?..

И вот... знакомое мерцанье двух женских фигурок, уложенных в глубине солнечных бликов под цветущей сиренью. «Сирень на солнце». Клод Моне. Воздух настолько насытился светом и теплом, что трудно сохранить строгие очертания мира, исчезли контуры, только блики листвы и воздуха, блики одежд и силуэтов. Как точно прорисован на холсте трепетно живущий среди нас Свет. Художник днями ждал погоды для улавливания и нанесения живых лучей на холсты. Над ним посмеивались, а он рисовал скалы в воздухе Бретани и Нормандии, и с тех пор там есть эти скалы!

Как прекрасно и как радостно-грустно мелькнуть одним из бесконечных бликов, падающих на эту землю.

Мы переходили от холста к холсту, держась за руки, потом полуобнявшись, и... я поцеловал ее у одной из картин – чуть коснулся затылка губами. Она стояла передо мной, я смотрел поверх ее головы на акведук Сезанна и погружался в наши прикосновения. Они обволакивали теплыми порывами, наслаивались, пронизывали, и я поддался одному из них, и она мне ответила: я поцеловал в затылок, а она незаметно подалась спиной ко мне, и мы сомкнулись. Через несколько картин, которые она смотрела уже облокотясь на меня всей спиной, мы оказались у колоннады, я мягко развернул ее на себя, она все поняла и улыбнулась.

Наш поцелуй длился, пока мы не оказались среди пухлых резиновых перчаток, голосующих за искристую радость дружбы и свет любви, или наоборот: за свет дружбы... иными словами, на кухне нас встретила большая весёлая выпивающая компания, оживленная последней новостью - Лида оставляет театр и с мужем переезжает через океан в Америку.

Шла очередная «волна» отъездов людей искусства, спецов и евреев. Стало привычным кого-нибудь провожать на Запад, в «Поля Тростника». Я не раз задумывался тогда: а мог бы я, при возможности, уехать на чужбину, и, в ответ, не мог представить себе свою жизнь вне родной речи:
“в купе жих с тобою, вкупе умрух с тобою”...

По недоразумению, я был учтён в службе госбезопасности, в которую обо мне сдавал отчеты мой друг-поэт. Он рисовал меня аполитичным инфантилом без читательского спроса. Другой друг (на друзей мне всегда как-то странно везло), режиссер документального кино, увез мою скрипачку на ПМЖ в Германию сразу же после нашей с ней размолвки.

Невинные «предательства» друзей позже всегда оборачиваются нашим спасеньем.

Но на этой московской кухне мы все были влюблены, каждый во что-то свое, в этом своем нас объединяла общая черта - мы умели мечтать, не бояться перемен и верить в мечты друг друга. Конечно же, мы дружно напились. Марина понравилась всем, и ее просили остаться, ведь очень поздно и очень далеко отсюда, и очень хорошо здесь.

Я был уже несколько дней влюблен, наэлектризован. Два человека, еще незнакомых вчера, так близки сегодня, и так доступны друг другу, так нежны и желанны. Мне не хотелось, чтобы кто-то уезжал в Канаду навсегда. Нельзя терять это очарование нашей дружбы. Где и когда снова мы воплотимся в одном месте и времени, где так единодушно проголосуют за нас на горлышках баллонов резиновые перчатки. Но там, за океаном, давали пособие и три года на переобучение и адаптацию. Нельзя отговаривать мореходов, сносящих припасы в трюмы, ведь они всегда уходят в неизвестность, в Море Без Берегов, зачем же дергать их за сердца напоминанием о своей любви к ним, о тяжести разлуки и своей покинутости, брошенности на этом побережье...

“... люби сиротство и дар друзей -
их одиночеств верность,
и не страшись когда холодной кистью
коснутся наших окон -
коснутся губ -
задумчивые ветры
нас уносящие...”

Меня прервали, отобрали бокал и повели среди разбросанных вещей и коробок в спальню. Там, как и во всей квартире, громоздилась атмосфера большого переезда или отплытия. Теперь мне была ясна причина веселой неустроенности и беспорядка в этом доме. Раздвинули коробки, отбросили мешки и обнаружили низкую широкую кровать, зачем-то бросили на подушку большое полотенце, и мы с Мариной, которая помогала мне маневрировать, вот так, как два взрослых человека, остались перед кроватью лицом к лицу...

Можно много чего рассказать интересного о мужчинах, пишущих аполитичные книги без читательского спроса, но я был потрясен, впервые почувствовал, что сценарий моей жизни передан в другие руки, не я Паном преследую через леса Аркадии девственную нимфу, а меня чутко как куст чертополоха берут из сухого песка и пересаживают в ночную прохладу серебристого лунного света.

Я был охвачен чувством радости: лицом к лицу с любимым человеком войти в ночь. Передо мной стояла молодая женщина, ее серо-зеленые глаза сияли, ее губы были мне хорошо знакомы, и она хотела быть эту ночь со мной. Это был дар, я не знал ему цены и растерялся…Надо было решать в себе - кем стала для меня эта девушка, но моя голова только улыбалась. Дрожь от желания, от возможности его осуществления, пудали и без того мореходные мысли... Но, в то же

время, я осознавал сквозь бешенный стук сердца, что напротив меня через кровать мне предлагается нечто большее чем эта ночь, там предлагают мне целиком своё (наше!) будущее. Нет, она ни о чём меня не просила, не требовала, просто нежно прикасалась ко мне, и ее губы ждали поцелуя... От этой открытости во мне появилось ощущение ее превосходства - я не успевал чувством продвигаться к ней так стремительно, не успевал рассмотреть это свое чувство - я был глубоко внутри его, внутри ее, и мне приходилось только следовать за ней и принимать ее трепет.

“Всюду люби их, я знаю их сердце,
оно из ольхи,
их кожа из губ,
их руки пропитаны дягилем...
Я всюду любил их,
и сердце мое в немоте,
губы под мхами,
руки корней неподвижны...”

* * *

Переходя раскаленные дюны, я чувствовал босыми ступнями нависшее надо мной солнце. Я лежал после купанья на песке и вспоминал свою поездку в Москву. В ту ночь я пил аромат ее дыханья. Прекрасный лик любви, который никто не в силах изобразить по прихоти, открылся в ее лице, склоненном надо мной. Между моих пальцев струились пряди ее волос и опускались мне на лицо. Я как бы вырвался на этих волнах из прежней реальности в новое не отстроенное пространство, привычные чертежи моей жизни смазались - я не осознавал до конца происходящее, но чувствовал, что Марина помогает мне дотянуться в самом себе до ее чувства, до желанного и важного для нас. И я как будто хотел или мог обрести эту новую возвышенность.

Я знаю теперь, что побоялся поверить в свершение того, о чем мечтал, отступил, не доверился своему сердцу. Но представьте себе, что эта случайная встреча здесь сейчас - реально и есть главное событие жизни. А если это ошибка, и там, в будущем, меня ждет подлинная единственная Инь???

Я перевернулся на живот и снова поймал, чуть прищурив глаза, тот момент, когда блики выскочили на мокрый песок из волны… потом поднялся, вошел в воду и поплыл к середине залива. Солнце уже соскользнуло с зенита – пора было собираться на работу. Не вытираясь, я оделся, попрощался с девушкой, сунув клочок бумаги с ее телефоном в карман, и пошел через раскаленные дюны к метро.

* * *

Теперь Марина приезжала каждый вечер в Коньково. Я мог сказать каждому, что разлука с ней сделает меня Врубелевским Паном, веками сидящим над водами Ладона у тростника, поющего голосом Сиринги. Я понимал, что скоро мы разъедемся и не знал, что делать.

В театр мы больше не ходили - Лида получила документы на отъезд, сборы ускорились до беготни, я помогал упаковывать житейский хлам в тюки и коробки. У меня было чувство, что к

отплытию готовятся все, потому что материк должен уйти под воду по причине глобального потепления наших сердец.

Настал день отъезда Марины, который она откладывала уже вторую неделю, пропуская занятия в институте. Мы стояли на перроне и я искал в ее глазах вопрос, ожидание нужных слов, тревогу, но они остались зеленовато-серыми, чистыми, может быть, чуть грустными... вероятно, мне очень хотелось найти в них эту тень. Вагоновожатый попросил всех отъезжающих зайти в вагон, поезд вздрогнул и начал медленно плыть по вокзалу. Марина шепнула в поцелуе: я твоя… или мне это послышалось в её дыхании, как еще не угасшее эхо наших ночей. Я сильнее обнял её. И не нашел в своей груди воздуха для ответа. Ее слова в поцелуе… как ужасно, я превратил их из слов безграничной близости в зябкий выдох прощанья! Они вырвались из ее губ еле слышно, как ночные птицы, спрятанные в поцелуе, и растаяли-потерялись в вокзальном шуме... Я стоял на перроне, мне было одиноко, и на меня наползал с каждым стуком колес отъезжающего поезда мой, казавшийся утраченным, сияющий мир бесконечных пространств созерцанья красоты и одиночества.

“... и ты становишься снова похож на себя –
гуашью на пергаменте времени
человек-иероглиф...”

* * *

Я подошел к барной стойке и взял себе еще один двойной кофе. Зимняя поездка в Москву стала забываться, новые книги и встречи рождали свежие течения мыслей и чувств. Вечер тонул в неуютном июньском дожде, в “Стекляшку” заходили промокшие завсегдатаи. Кому-то кивал, кто-то подходил и пил свой кофе со мной.

С весны в эту кофейню стала заходить рыжеволосая тихая девушка. Она всегда была одна, ни с кем не знакомилась, мы встречались иногда взглядами. Однажды она улыбнулась мне, и ее улыбка напомнила мне другую. Я стал замечать за собой, что жду появленья этой огненноволосой юной Исиды как золотистого блика из минувшего.

Я снова стал одним из сайтов кофейного портала.

Кофе был выпит, но я не уходил, поджидая Ле. По стеклянным стенам кофейни сползал дождь, Исида давно не появлялась, и мне нужна была моя дружественная Ле с рассказами о книгах и поклонниках, о внезапном открытии прошлой ночью в своих объятьях талантливого мальчика из нашей спекшейся кофейной руды.

Мне хотелось согреться дружбой. Вечер был отпит до горьковатой гущи, до ночи, бармен объявил о закрытии заведения. Ле не пришла. Я направился к метро, и в подземном переходе встретил толпу подвыпивших шумных старшеклассников. Так я узнал, что сегодня по всему городу танцуют на выпускных прощальных школьный балах... Я вспомнил свою школьную влюбленность, как скрывал свои чувства и танцевал со всеми, но только не с той, о которой думал и за которой незаметно следил весь вечер. Как же это было глупо и непоправимо.

Я проводил взглядом веселую компанию и остался стоять в переходе, как будто кто-то схватил меня и удерживал за руку, я не сводил глаз с поющих целующихся выпускников. На моем лице была улыбка человека, потерявшегося во времени.

«Сестра Ле, думаю, что ты разумно предпочла веселые шептания своих чувств моему дешевому кофе, мы еще успеем наговориться. Я, как всегда, в этом углу «Стекляшки» у прозрачной стены, за которой идет чудесный фильм, в нем падают на мокрый асфальт глянцевые блики от фонарей, неоновых вывесок, автомобильных фар, и сквозь эти блики идут из ниоткуда в никуда чуть подмокшие силуэты, несущие в себе теплое дыханье грез и желаний.»

* * *

Лиду с мужем провожала небольшая группа актеров театра, их друзья и мы, пожиратели охотничьих колбасок. Поезд стоял на Киевском вокзале, отбывал в Швейцарию. Мне вспомнилось, что в августе над Европой ожидается звездный дождь: юная комета приближается к Солнцу, на пути сбрасывая с себя одежды... Одежды, сотканные из бисера космической пыли, распадаются и летят к нам на землю. Они вспыхивают, проваливаясь в атмосферу серебристыми звездами. Мы смотрим на эти серебристые блики космической страсти и одиночества, тающие в небе как в мокром песке. Нам не видно, как обнаженная прекрасная дева, мелькнув перед ликом Солнца, вновь ускользает от его обжигающего дыхания - мы загадываем желанья о любви на этих сгорающих пылинках Вселенной.

Поезд тронулся, Лида мелькнула в окне заплаканным лицом, Ле пошла за вагоном, что-то выкрикивая сестре, остальные провожающие отошли допивать недопитое, и я испытал облегчение.

В тот же вечер мы с Ле уезжали из Москвы, квартира была продана, её содержимое отправлено багажом. Так мы стали бездомными гостями в чужом городе со списком случайных знакомых и мешком книг.

На календаре был март, а то, что творилось над Москвой, не имело определенного сезонного названия - то падал снег, то лил дождь, ветер пронизывал под ослепительным солнцем, потом опять наплывали тучи... К вечеру иллюминации неба улеглись, и я прямо из арбатской кофейни, что была неподалеку от театра им.Вахтангова, поехал на тот же Киевский вокзал.

В кофейне я разговорился с молодой актрисой этого театра, и так вышло, что я взял у нее номер телефона, но не помню куда его записал. Как-то снова легко всё стало теряться, прежний мир окончательно накрыл меня.

Распаковывая вещи, я тщетно пытался найти адрес Марины, готовый растерзать себя. Несколько раз выворачивал сумку, тупо тряс, пролистывал каждую страницу привезенных книг. Обжигающая горечь вспыхивала в груди и разливалась по телу. Я терялся в этом мире, очаровываясь красотой заката на моем 14-м этаже.

* * *

Постепенно выгорают те дни, когда мы с нежностью смотрели в глаза близкого человека, вдыхали аромат его тела, и его голос звучал в нашем сердце. У меня нет спасительных слов, нет живительных образов для того, чтобы противостоять этому необратимому процессу исчезновенья.

Моя влюбленность не поднялась до любви, я небрежно потерял ее, сохранив в сердце только образ, размытый солнечными бликами. Но эхо ее голоса, еле слышное, все еще зовет меня из глубин памяти... сквозь шелесты тростников.

“... однажды я вышел искать
твой пылающий силуэт
и где-то заблудился,
и меня не отыскать во век...

но лучше не читать этих слов в своем сердце -
мы все когда-нибудь теряемся
навсегда
в старых одеждах воспоминаний...”

В ту нашу первую ночь я был потрясен открывшейся для меня правдой - стоявшая передо мной девушка любила меня и была готова следовать за мной, но моему чувству было не по силам принять это, разделить с ней всё до конца.

Мне было больно, потому что мечта осуществлялась в моих объятьях, она принадлежала мне, и сквозь мои пальцы струились, ускользая навсегда, её густые, как родниковая вода, волосы...

* * *

Утро незаметно перешло в день.

Я встал с песка, поймав на нем у самой кромки воды несколько солнечных бликов, разбежался и нырнул с берега в зеркало речного залива, оно раскололось и брызнуло искрами на солнце у золотых песков Оболони, смыкаясь над исчезающим в его глубине Бликом Времени...

2002г.
(по заметка 1991)